

## ТАК И БРОДИМ РОДИМЫМ КРАЕМ...

\* \* \*

Вечером первого января запрещенный табачный дым  
вьется под небелёным, под потолком моего жилища.  
Холодно, и засыпать пора. На бумаге я был одним,  
а по жизни, кто спорит, глупее, зато и проще, и чище.  
Пыльные стекла оконные подрагивают под новогодним ветром,  
колокольные языки качаются, и оставшиеся в живых  
мирно посапывают во сне – опаленном, не слишком светлом,  
но глубоком и беззащитном. Пес сторожевой притих

в конуре, постылую цепь обмотав вокруг правой передней лапы.  
Брат его кот, вылитый сфинкс, отмахивается от невидимых мух,  
снежных, должно быть. Неприкаянная, неправедная, могла бы,  
как говорится, сложиться удачнее, но уже, похоже, потух  
желтый огонь светофора на тушинском перекрестке. Се,  
отвлекаясь от книги лже-мудреца, над электрической плиткой грея  
пальцы, подливаю случайного в восьмигранный стакан. Осе  
или пчеле, сладкоежкам, спокон веков ясно, что немолодое время

совершенно не зря сочится по капле, когда на дворе темно,  
высыхая, воспламеняясь, дыша – полусладкое, недорогое.  
Снег идет. Плачет старик. И пускай на крестинах оно одно,  
в одиночестве – близко к тому, а на поминках совсем другое  
обучись – коль уж другого нет – обходиться этим вином,  
чтобы под старость, не лицедействуя, и уже без страха  
и стыда поглощать растворенный в нем  
невесомый яд, возбудитель праха.

\* \* \*

Славный рынок, богатый, как все говорят –  
рыбный ряд, овощной, да асфальтовый ряд –  
и брюхатый бокал, и стакан расписной,  
и шевелится слизень на шляпке грибной,  
а скатёрки желты, и оливки черны,  
и старьевщик поет предвоенные сны,  
наклоняясь над миром, как гаснущий день –  
и растет на земле моя серая тень.

Так растет осознавший свою немоту –  
он родился с серебряной ложкой во рту,  
он родился в сорочке, он музыку вброд  
перейдет, и поэтому вряд ли умрет –  
перебродит, подобно ночному вину,  
погребенному в почве льняному зерну,

и взглянув в небеса светлым, жестким ростком  
замычит, как теленок перед мясником.

\* \* \*

Лгут пророки, мудрствуют ясновидцы,  
хироманты и прочие рудознатцы.  
Если кто-то будущего боится,  
то они, как правило, и боятся.  
Смертный! перестань львом пустынным рыкать,  
изнывая утром в тоске острожной  
по грядущей ночи. Беду накликать,  
рот раззявив глупый, неосторожный,  
в наши дни, ей-ей, ничего не стоит,  
и в иные дни, и в иные годы.  
Что тебя, пришибленный, беспокоит?  
Головная боль? Или огонь свободы?  
Не гоняй и ты по пустому блюдцу  
наливное яблочко – погляди как,  
не оглядываясь, облака несутся,  
посмотри, как в дивных просторах диких  
успокоившись на высокой ноте,  
словно дура-мачеха их простила,  
спят, сопя, безропотные светила,  
никогда не слышавшие о Гёте.

\* \* \*

Должно быть, я был от рождения лох,  
знай грезил о славе, не пробуя малым  
довольствоваться, памятуя, что плох  
солдат, не мечтающий стать генералом.  
Но где генералы отважные от  
российской словесности? Где вы, и кто вам  
в чистилище, там, где и дрозд не поет,  
ночное чело увенчает сосновым  
венком? Никаких золотых эполет.  
Убогий народ – сочинители эти.  
Ехидный Лермонтов, прижимистый Фет,  
расстроенный Блок, в промерзшей карете  
из фляжки глотающий крепкую дрянь  
(опять сорвалось, размышляет, тоскуя),  
при всей репутации, бедный, и впрямь  
один возвращающийся на Морскую...  
Да что, если честно, накоплено впрок  
и вашим покорным? Ушла, отсвистела.  
Один неусвоенный в детстве урок,  
губная гармошка, да грешное тело.  
Как будто и цель дорогая близка –  
но сталь проржавела, и в мраморе трещина:  
Что делать, учитель? Твои облака  
куда тяжелее, чем было обещано...

\* \* \*

Вот гениальное кино,  
к несчастью, снятое давно –  
июльский дождь, и черно-белый  
пейзаж Москвы оцепенелой,  
сиротской, жалкой, роковой...  
Не над такую ли Москвой,  
когда снежит, когда озябли  
гвардейцы у ворот Кремля,  
и мерзнет черная земля,  
непешно реют дирижабли?  
Не здесь ли дворник-понятой,  
певец гармонии святой,  
считает перед сном до сотни,  
не здесь ли ёжится щенок  
и юркий черный воронок

вдруг тормозит у поворотни?  
Нет, не тревожься. Этот кин  
хоть посвящен, да не таким  
угрюмым снам. Былые страхи  
ушли, настал ракетный век,  
и незадачливый генсек,  
вспотев в нейлоновой рубахе,  
о светлом будущем поет.  
Кондуктор сдачу выдает,  
троллейбус синий обгоняет  
прохожего. Бассейн «Москва»  
исходит паром. Деревя  
бульвара дремлют, и не знают  
грядущего...

\* \* \*

После пьянки в смоленской землянке –  
рядовым, а не спецпоселенцем –  
Дэзик Кауфман в потертой ушанке  
курит «Приму» у входа в Освенцим.  
Керосинка. Сгоревшая гренка.  
Зарифмованным голосом мглистым  
несравненная Анна Горенко  
шлет проклятье империалистам.  
«Нет, режим у нас все-таки свинский.»  
«Но и борькин романчик – прескверный».  
Честный Слуцкий и мудрый Сельвинский  
«Жигулевское» пьют у цистерны.  
И, брезгливо косясь на парашу,  
кое-как примостившись у стенки,  
тихо кушает пшеничную кашу  
постаревший подросток Савенко.  
Штык надежен, а пуля – дура.  
Так и бродим родимым краем,  
чтя российскую литературу –  
а другой, к сожаленью, не знаем.  
А другой, к сожаленью, не смеем.  
Так держаться – металлом усталым.  
Так бежать – за воздушным ли змеем,  
за вечерним ли облаком алым...

\* \* \*

Позеленевший бронзовый жеребенок – талисман умолкнувшего этруска  
узким косится глазом. Ненавязчивый луч солнца сквозь занавеску  
напоминает, что жизнь – это тропинка в гору, только без спуска,  
сколько в ней плеска и придорожной пыли, и сколько блеска!  
Не слепит, но отчетливо греет. Альпий воздушный змей над лужайкой  
реет, и щербатый мальчишка за ним бежит, хохоча от избытка

счастья. Дед его на веранде, отвернувшись, млеет с улыбкой жалкой над потрескавшимися фотографиями, тонированными сепией. Нитка следует за иголкой, а та – за перебором пальцев по струнам незаконнорожденной русской гитары, за готическим скрипом половиц на втором этаже, когда уже поздно любоваться лунным светом. Хорошо, уверяют, жить несъедобным океанским рыбам в тесной стае, на глубоководье. Бревенчатый дом моего детства продается на слом. За овальным столом, под оранжевым абажуром, сгинувшим на помойке, три или четыре тени, страхась оглядеться, пьют свой грузинский чай с эклерами. Осенний буран желтым и бурым покрывает садовый участок, малину, рябину, переспелый крыжовник. Да и сам я – сходная тень, давно уже издержавшаяся в напряженных голосах подводной вселенной, где, испаряясь в печали тайной, на садовом столе исчезает влажный след от рюмки, от гусь-хрустальной.

\* \* \*

Зима грядет, а мы с нее особых льгот не требуем, помимо легкомыслия под влажным, важным небом и хочется скукожиться от зависти постыдной то к юношеской рожице, то к птице стреловидной. Все пауки да паузы, веревочка в кармашке – у помрачневшей Яузы ни рыбки, ни рюмашки не выпросить, не вымолить, не прикупить, хоть тресни. У старой чайки выбор есть, ей, верно, интересней орать, чем мне – дурачиться, отшельничать во имя музыки, да собачиться с красавицами злыми. О чем мой ангел молится под окнами больницы? И хочется, и колется на снежную страницу лечь строчкой неразборчивой к исходу русской ночи – а лёд неразговорчивый рыхл, удручен, непрочен и молча своды низкие над сталинским ампиром обмениваются записками с похмельным дольным миром.

\* \* \*

Вьется туча – что конь карфагенских кровей. В предвечерней калине трещит соловей, беззаботно твердя: «все едино», и земля – только дымный, нетопленный дом, где с начала времен меж грехом и стыдом не найти золотой середины. Светлячков дети ловят, в коробку кладут. Гаснет жук, а костер не залит, не задут. Льется пламя из лунного глаза. И вступает апостол в сгоревший костёл, словно молча ложится к хирургу на стол, поглотать веселящего газа.

Но витийствовать – стыд, а предчувствовать – грех; так, почти ничего не умея,

мертвый мальчик, грызущий мускатный орех,  
 в черно-сахарном пепле Помпеи  
 то ли в радости скалится, то ли в тоске,  
 перетлевшая лира в бескровной руке  
 (ты ведь веруешь в истину эту?  
 ты гуляешь развалинами, смеясь?  
 ты роняешь монетку в фонтанную грязь?  
 Слезы с потом, как надо поэту –  
 льешь?) Какие сухие, бессонные сны –  
 звонок череп олений, а дёсны красны –  
 на базальтовой снятся подушке?  
 Раб мой Божий – в ногах недостроенный  
 корабль, и непролитое молоко –  
 серой патиной в глиняной кружке.

\* \* \*

То нахмурившись свысока, то ненароком всхлипывая, предчувствуя землю эту,  
 я – чего лукавить! – хотел бы еще пожить, пошуметь, погулять по свету,  
 потому-то дождливыми вечерами, настоя зверобоя приняв, как водится,  
 с неиссякающей жадной надеждою к утомленной просьбами Богородице  
 обращаюсь прискорбно – виноват, дескать, прости-помилуй, и все такое.  
 Подари мне, заюшка, сколько можешь, воли, а захлебнусь – немножко покоя.

Хорошо перед сном, смеясь, полистать Чернышевского или Шишкова,  
 разогнать облака, обнажить небосвод, переосмыслить лик его окаянный.  
 Распустивши светлые волосы, поднимись, Пречистая Дева, со дна морского,  
 чтобы грешника отпоить небогатой смесью пустырника с валерьяной.  
 Хороша дотошная наша жизнь, средоточие виноватой любви, непокорности  
 и позора,  
 лишь бы только не шил мне мокрого дела беспощадный начальник хора.

\* \* \*

Сносился в зажигалке газовой,  
 пластмассовой и одноразовой,  
 кремь – но отчего-то жалко  
 выбрасывать. С лучами первого  
 декабрьского солнца серого  
 верчу я дуру-зажигалку

в руках, уставясь на брандмауэр  
 в окне. Здесь мрачный Шопенгауэр  
 нет, лучше вдохновенный Нитче  
 к готическому сну немецкому  
 готовясь, долготу, недетскому,  
 увидел бы резон для притчи,

но я и сам такую выстрою,  
 сравнив кремь с Господней искрою,  
 и жалкий корпус – с перстью брэнной.

А что до газового топлива  
 в нем все межзвездное утоплено,  
 утеплено, и у вселенной

нет столь прискорбной ситуации...  
 Эй, публика, а где овации?  
 Бодягу эту излагая,  
 зачем я вижу смысл мистический  
 в том, что от плитки электрической  
 прикуриваю, обжигая

ресницы? А в небесном Йемене  
 идут бои. Осталось времени  
 совсем чуть-чуть, и жалость гложет  
 не к идиотскому приборчику  
 к полуночному разговорчику,  
 к любви – и кончиться не может...

\* \* \*

Упрекай меня, обличай, завидуй,  
исходи отчаяньем и обидой,  
презираю, как я себя презираю,  
потому что света не выбираю –  
предан влажной, необъяснимой вере,  
темно-синей смеси любви и горя,  
что плывет в глазах и двоится стерео-  
фотографией северного ночного моря.  
Что в руках у Мойры – ножницы или спицы?  
Это случай ясный, к тому же довольно старый.  
Перед майским дождиком жизнь ложится  
разноцветным мелом на тротуары.  
Как любил я детские эти каракули!  
Сколько раз, протекая сиреневым захолустьем,  
обнимались волны речные, плакали  
на пути меж истоком и дальним устьем!  
Сколько легких подёнок эта вода вскормила!  
Устремленный в сердце, проходит мимо  
нож, и кто-то с ладьи за пожаром мира  
наблюдает, словно Нерон – за пожаром Рима.

\* \* \*

Затыкай небеленую ватую уши, веки ладонью прикрыв,  
погружаючись в семидесятые – словно ивовый, рыжий обрыв  
под ногами. Без роду и племени? Что ты, милый. Хлебни и вдохни –  
как в машине бесследного времени приводные грохочут ремни  
из советского кожзаменителя! Хору струнных не слышно конца.  
Путешествие на любителя – ненавистника – внука – глупца.

В дерматиновом кресле, где газовой бормашиной бормочет мотор  
недосмазанный, бейся, досказывай, доноси свой взволнованный вздор  
до изменника и паралитика. Нелегко? Индевеет десна?  
Жизнь когда-то из космоса вытекла, говорят, весела и вольна,  
и свои озирала владения – и низринутых в гости звала,  
и до самого грехопадения языка не высывывала

из дупла запрещенной черешни. Это выдумка, сказка, Бог с ней.  
Если страшен сей мир – смрадный, грешный – то исчезнувший – много  
тесней.

Главспирттрестовской водкой до одури – повторю в обезвоженный час –  
горлопаны, наставники, лодыри, Боже, как я скучаю без вас!  
Ах, зима, коротышка, изменница! Есть на всякий яд антидот –  
кроме времени, разумеется. Но и это, и это пройдет.